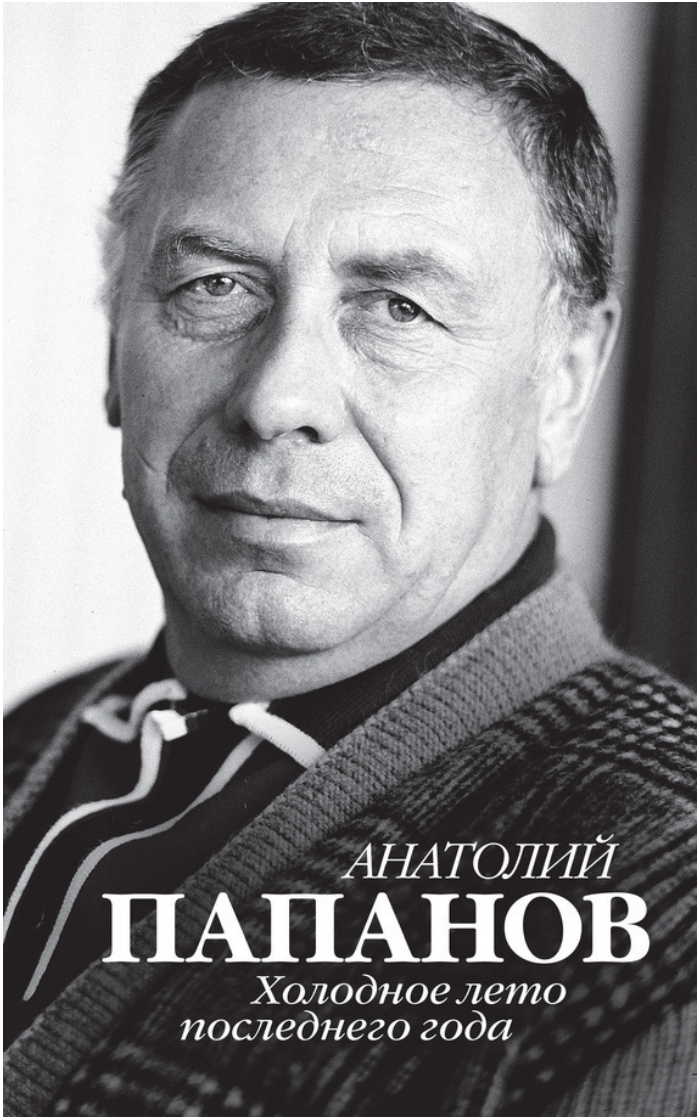
АНАТОЛИЙ
ПАПАНОВ
Холодное лето
последнего года

Юрий И. Крылов

Анатолий Папанов. Холодное лето последнего года

Серия «Театральный Олимп»

indd предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27303432
Анатолий Папанов Холодное лето последнего года:
ISBN 978-5-17-099836-4

Аннотация

Анатолий Дмитриевич Папанов – выдающийся советский актер театра и кино, народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны. Его яркие роли – классика советского кинематографа. Память об этом замечательном актере живет даже спустя много лет после его смерти. В основе книги лежат воспоминания актера о жизни, семье, ролях в кино и театре, забавные и не очень истории его непростого жизненного пути. Великий актер мало поведал нам о личном… Как он говорил: «Артист вне сцены или экрана не должен быть прочитанной книгой для зрителя, а уж выставлять напоказ свою личную жизнь и вовсе не годится…».

Содержание

Не должно быть «прочитанной книгой»…	5
Мама – дорогое, сокровенное, святое	7
Мое место в этом списке	9
Однажды я зашел в заводской клуб…	15
Я пришел в ГИТИС, хромая, опираясь на палку…	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Анатолий Папанов
Холодное лето последнего года

Серия «Театральный Олимп»

© Юрий И. Крылов, текст, составление, 2017
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

Не должно быть «прочитанной книгой»…

Эта книга подготовлена на основе статей и интервью Анатолия Дмитриевича Папанова. Составить ее было не совсем просто, и вовсе не по причине скудости материала. Напротив, артист дал множество интервью, часто не считаясь с собственной занятостью и усталостью, чему удивлялись сами журналисты. Причем издания, где опубликованы беседы с Папановым, порой очень далеки от театра – это и спортивные, и узкоспециальные, и разнообразные местные газеты… Такая безотказность продиктована уважением к чужому времени и чужой работе, потому что свою профессию Папанов уважал бесконечно.

Сложность в другом: во всем том, о чем рассказывал сам Анатолий Дмитриевич, почти отсутствует то, что составляет основу большинства мемуаров и воспоминаний, – личное. Да и едва ли то, что он считал нужным рассказать о самом себе, своей семье и своих близких, о своих интересах и привязанностях, заинтересует любителя подробностей жизни знаменитостей. Скрывать ему было нечего – Папанов прожил достойную, честную жизнь. Но сам он в одном из интервью сказал, что артист вне сцены или экрана не должен быть прочитанной книгой для зрителя, а уж выставлять напоказ свою

личную жизнь и вовсе не годится… Что ж, будем считаться с его позицией – она заслуживает уважения.

В Папанове не было ничего от знаменитого артиста. Будучи очень известным и узнаваемым, он тяготился своей известностью и чуждался всего, что могло ее подчеркнуть. Скрывался за темными очками и невзрачной одеждой. Не было в нем ничего показного. Александр Прошкин, режиссер фильма «Холодное лето пятьдесят третьего», вспоминал, что Папанов, в отличие от других людей, не афишировал свою интеллигентность, и сквозь наружную его простоватость вдруг прорывалась то цитата из Тютчева, то еще что-либо подобное. Сам стеснительный и деликатный, он не терпел, когда лезли к нему в душу, и отгораживался от этого. Всерьез же много, подробно и увлеченно он говорил об одном – о профессии, о работе, об искусстве. О дорогих для него людях, встреченных им в разные времена. И в этом разговоре можно очень многое узнать и о самом Анатолии Дмитриевиче Папанове, о его взглядах, пристрастиях, принципах, о его непростом жизненном пути. Там, где это нужно, мы будем сопровождать рассказ необходимыми комментариями, ссылаться на литературные источники, а также предоставлять слово близким артиста (в первую очередь – его супруге, Надежде Юрьевне Каратаевой), его друзьям и коллегам.

Мама – дорогое, сокровенное, святое

Я прожил долгую жизнь, многое повидал, за плечами война, сорок лет работы на сцене, в кино, встречи с интересными людьми… Словом, не могу пожаловаться на отсутствие ярких впечатлений и запоминающихся событий. Журналисты, да и некоторые зрители, часто спрашивают: «А что в вашей жизни было самое-самое?» Я отвечаю: «Мама». Но так как вопрос этот обычно задается в череде других вопросов, – к примеру, между: «Каковы ваши дальнейшие творческие планы?» и «Ждать ли продолжения серии „Ну, погоди“?» – то и мое ответное слово скромно теряется в ворохе других. К сожалению. Потому что хоть и простое это слово, всем известное, но у всякого человека так много за ним стоит.

Мама… Первое слово, которое человек произносит, вступая в жизнь, и последнее, которое он шепчет немеющими губами, уходя из нее. Все самое сокровенное, дорогое, святое заключено для нас в этом слове. Я как-то спросил одного нашего известного спортсмена: когда тебе приходится выступать в международных соревнованиях и вокруг тебя спортсмены из других стран перед ответственным стартом молятся, крестятся на счастье, о чем ты думаешь в эти мгновения?

Он ответил: «Я шепчу про себя: „Мамочка, помоги мне“». Я не удивился, потому что сам на войне, в самые страшные, решающие минуты, тоже шептал эти слова. А самые частые воспоминания, которые согревали меня в ту тяжелую пору, – о детстве, о доме, о Москве. Закроешь глаза – и вновь окажешься в знакомой восемнадцатиметровой комнатке, увидишь мать, отца, сестренку, и оживает душа, и будто вливается в тебя новая сила.

Отец мой был военным человеком, это накладывало отпечаток на его характер. А мама… Мама всегда была для меня близким человеком, утешала и поддерживала в трудную минуту. Ей я отчасти обязан и благополучием в моей семье. Она умела принять сторону моей жены (и была права), помогала понять мои ошибки…

Я вырос в Москве, в том районе, где сейчас станция метро «Спортивная», а моя улица – Малые Кочки – теперь называется улицей Генерала Доватора. И дом моего детства на месте стоит, время его пощадило. Прохожу, бывает, этой улицей, посмотрю на знакомое окно, и кажется мне, будто зовет меня оттуда мамин голос: «То-оля!..» И встрепенется что-то в душе…

Мое место в этом списке

Помню, уже спустя годы после войны бродил я по весеннему редкому лесу и вдруг увидел серый цементный конус с красной звездой и со столбцом фамилий на металлической табличке. Агапов, Дадимян, Мешков… Я читал фамилии незнакомых мне людей, а когда дошел до начинающихся на букву «П», подумал, что мое место в этом списке было бы здесь. Деловито так подумал, просто. Такой реальной представлялась мне смерть в окопах той страшной войны, так часто дышала она мне прямо в лицо.

В армию меня призвали в 1940 году. Служба моя началась в Саратове, затем перевели в Оренбург. Там и застало меня известие о начале войны. Короткая подготовка – и на фронт. А возраст – всего девятнадцать.

В июле нас сформировали и направили на 2-й Юго-Западный фронт – харьковское направление. Прибыли оборонять небольшой городок. По виду тех, кто уже воевал, было ясно – тут жарко. Окопались. Силища на нас шла – не сосчитать. Почти вся дивизия полегла, от нашего взвода человек шесть или восемь в живых осталось.

Основную тяжесть войны несла пехота. Мина, которая танку рвет гусеницу, пехотинцу отрывает ноги. Марш-бросок на лафете – одно, а на своих двоих, да еще по колено, а то и по уши в грязи – другое. Пули бессильны перед броней, но

вся броня пехотинца – гимнастерка. Сами понятия фронта и тыла относительны. Если пули противника доставали нас на излете и вязли в шинели, не задевая тела, – мы, пехота, уже считали себя в тылу.

Я помню свой первый бой, в котором из нас, сорока двух человек, осталось в живых четырнадцать. Я ясно вижу, как падал, убитый наповал, мой друг Алик Рафаевич. Он учился во ВГИКе, хотел стать кинооператором, но не стал. Мы бежали недалеко друг от друга и перекликались – проверяли, живы ли. И вдруг:

– То-о-оли-ик!

Обернулся. Алик падает.

Рядом кто-то кричал:

– Чего уставился? Беги со всеми, а то и самому достанется, если на месте-то.

Я бежал, не помня себя, а в голове стучало: нет Алика, нет Алика. Помню эту первую потерю, как сейчас.

Из оставшихся в живых сформировали новый полк – и в те же места. Грохот такой стоял, что порой сам себя не слышал.

А однажды утром была абсолютная тишина, и в ней неожиданно:

– Ку-ка-ре-ку-у!..

Петух какой-то по старой привычке начинал день. Было удивительно, как только он выжил в этом огне. Значит, жизнь продолжается.

А тишину разорвал рев танков. И снова бой. И снова нас с кем-то соединили, и снова – огненная коловерть. Командиром нашего взвода назначили совсем молоденького, только что из военшколы, лейтенанта. Еще вчера он отдавал команды высоким, от юношеского смущения срывающимся голосом, а сегодня я увидел его лежащим с запрокинутой головой и остановившимся взглядом Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось – нет. Это прием войны…

Но там же я видел и познал другое. Огромную силу духа, предельную самоотверженность, великую солдатскую дружбу. Человек испытывался по самому большому счету, шел жесточайший отбор, и для фронтовика немыслимо было не поделиться с товарищем последним куском, последним куревом. Может быть, это мелочи, но как передать то святое чувство братства – не знаю, ведь я актер, а не писатель, мне легче показать, чем сказать.

Говорят, человек ко всему привыкает. Я не уверен в этом. Привыкнуть к ежедневным потерям я так и не смог. И время не смягчает все это в памяти.

…Мы все очень надеялись на тот бой. Верили, что сможем выполнить приказ командования: продвинуться в харьковском направлении на пять километров и закрепиться на занятых рубежах. Мороз стоял лютый. Перед атакой зашли в блиндаж погреться.

Вдруг – взрыв! И дальше – ничего не помню… Очнулся в госпитале. Три ранения, контузия. Уже в госпитале узнал, что все, кто был рядом, убиты. Мы были засыпаны землей. Подоспевшие солдаты нас отрыли.

В госпитале меня оперировали, вытащили осколок, а потом отправили санпоездом в другой госпиталь, находившийся в дагестанском городе Буйнакске. Ехали долго, дней десять, и в пути мне было очень плохо, тяжело. Ухаживал за мной, помогая санитарам, молодой солдат (из легкораненых, как он говорил), совсем почти мальчишка. Прибыли к месту назначения, и в общей суматохе я потерял его из виду и очень грустил, потому что привык к этому доброму и улыбчивому пареньку. Когда стал ходить, неожиданно встретил его в коридоре госпиталя. Увидел и… мурашки по телу побежали: «легкораненый» был без ноги.

Когда меня спрашивают, что мне больше всего запомнилось на войне, я неизменно отвечаю: «Люди».

Есть страшная статистика: из каждой сотни ребят моего поколения, ушедших на фронт, домой возвратились лишь трое. Я так ясно помню тех, кто не вернулся, и для меня слова «за того парня» звучат уж никак не отвлеченно.

Однажды в телепередаче я рассказал об Алике Рафаевиче, и ко мне пошли письма: однофамильцы Алика спрашивали о своих пропавших родственниках. А однажды пришла женщина, и я сказал: «Вы мама Алика», – ошибиться было невозможно, одно лицо. Мы переписываемся до сих пор.

В другой раз, выступая в Орехово-Зуеве, я рассказал о своем друге Александрове – был у нас такой веселый бесшабашный солдат, этакий стиляга – он фасонисто подворачивал голенище валенка, и вот по этому подвернутому валенку, торчащему из сугроба, я его однажды и узнал. Откопали – и правда он. А после выступления за кулисы пришел парнишка: «Это, наверное, был мой папа». Смотрю – лицо, походка, все похоже.

После ранения на фронт я вернуться уже не смог. Меня комиссовали подчистую, никакие мои просьбы и протесты не помогли – комиссия признала меня негодным к воинской службе. И я решил поступать в театральный институт. В этом был своего рода вызов врагу: инвалид, пригодный разве что для работы вахтера (я действительно побывал на такой работе), будет артистом. И здесь война вновь страшно напомнила о себе – требовались парни, а их не было… Так что те слезы в фильме «Белорусский вокзал», в квартирке бывшей медсестры, вовсе не кинематографические.

В. Плучек: «Еще при жизни Анатолия Дмитриевича Папанова я отметил, что люди, хотя бы мало-мальски его знавшие, говоря о нем, начинали не столько с его актерских качеств, сколько с человеческих. Это было следствием того, что Папанов – даровитая натура, наделенная прежде всего человеческой одаренностью: парадоксальными свойствами характера, редкостным юмором, самобытностью выраже-

ния мыслей и чувств, незаемным и ни с кого не скопированным мировоззрением. У него было свое, независимое ощущение жизни, идущее от трудной биографии, тяжелой и далеко не устроенной в бытовом отношении вплоть до позднего благополучия большого артиста. Он хлебнул лиха, видел войну, испытал на себе трудную долю инвалида. Для примитивной натуры хватило бы и половины пережитого Папановым, чтобы сломаться и погаснуть. Человеческая одаренность помогла ему вынести из сложного жизненного пути прежде всего стереоскопичность видений. На сцене он не делал ничего упрощенного и примитивного. Каждая роль была пронизана недюжинной индивидуальностью артиста».

Лично я не стал бы называть войну школой. Пусть лучше человек учится в других учебных заведениях. Но все же там мы научились ценить Жизнь – не только свою, а ту, что с большой буквы. Все остальное уже не так важно…

Однажды я зашел в заводской клуб…

Я родился в небольшом уездном городке Вязьме, что на Смоленщине. И река там Вязьмой называется. Известен мой родной город на Руси давно, с тринадцатого, кажется, века. А знаменит он тем, что в Отечественную войну 1812 года под ним русские войска нанесли поражение отступавшей наполеоновской армии. Да и в минувшую войну досталось незваным пришельцам в смоленских местах… Стоят в Вязьме – вот уже несколько веков – церковь Одигитрии да Троицкий собор. Неподалеку от этого собора я и родился…

Отец мой, Дмитрий Филиппович, был военным человеком, служил в охране железнодорожного узла, мама, Елена Болеславовна Росковская (она была польских кровей, очень красивая женщина), хозяйничала по дому – она была модисткой, делала шляпки, но тогда ее мастерство было не востребовано. Двое детей – я и сестра Нина, чуть постарше меня.

Какая жизнь была в ту пору в маленьком городке? Радостей немного, однообразие, нужда. Но отец мой, человек веселый, неугомонный, активно участвовал в местной самодеятельности, которую, между прочим, организовал Николай Сергеевич Плотников, будущий вахтанговец. Руково-

дила самодеятельностью бывшая актриса императорских театров Лучезарская, жена командира Вяземского воинского гарнизона.

Николай Сергеевич играл в те годы в небольшой местной труппе. Случалось и отцу моему играть в одних спектаклях с Плотниковым. Да и нас с сестрой нередко вводили в спектакль, если на сцене нужны были дети. Мама была против этого, но отец всегда отстаивал нас, причем не конфликтуя, а, напротив, превращая спор в добрую шутку. Он был любимцем Лучезарской, которая не раз отмечала его актерские способности. И еще отец постоянно снабжал спектакли любителей утварью из собственного дома, что вызывало уже открытое недовольство мамы. Однажды для изображения грома за кулисами (это как раз делал я) он принес из дому корыто, вещь по тем временам очень ценную. А били по нему плотницким молотком так, что потом в дело употребить его уже нельзя было. Что было! Трагедия! Мама долго не могла успокоиться, и понять ее было нетрудно: в корыте обстирывалась вся семья. Отец ходил, виновато опустив голову, но иногда вдруг бросал на меня взгляд, полный лукавства: ничего, мол, обойдется…

Позже мы переехали в Москву. Отец стал гражданским лицом, работал на стройке, мама тоже поступила на работу – строгальщицей на завод.

Я много времени бегал с мальчишками во дворе, мы играли в казаки-разбойники, чижика, лапту. Кино, мороженое…

Но жили, как взрослые, – всеми новостями страны, говорили о челюскинцах, Шмидте, Доронине… Появился фильм «Чапаев» – только и разговоров было, что о геройском командире и его ординарце Петьке. Рассказывали-пересказывали фильм друг дружке, хотя все знали наизусть не только каждый кадр, но и почти весь текст.

Учился я тогда плохо, читал мало. Но кино очень любил. Ближайшей от нашего дома «культурной точкой» был Дом культуры «Каучук». Туда я и ходил в кино, на концерты. Смотрел и спектакли драматического коллектива ДК: «Профессор Полежаев», «Учитель» (по пьесе Сергея Герасимова, который поставил одноименный фильм), «Укрощение строптивой», «Васса Железнова», водевили. Руководил коллективом известный вахтанговский актер В. В. Куза. Своим приобщением к театру, сценической культуре я обязан этому на редкость доброму и талантливому человеку. Общаясь с ним, стал понимать, что актерство – это прежде всего труд, и труд нелегкий. Позже, уже выступая в коллективе ДК, я смотрел спектакли вахтанговского театра и видел прекрасные создания Василия Васильевича – его Растиньяка в «Человеческой комедии», Годуна в «Разломе», Мишеля Бродского в «Интервенции»… Созданные им образы всегда были овеяны романтикой, и это было естественно, потому что сам Василий Васильевич оставался в жизни вдохновенным романтиком, настоящим рыцарем без страха и упрека. Недавно в одном из старых театральных календарей я прочитал,

что Василий Васильевич ухитрился (в двадцатом-то веке!) подраться с одним из актеров на дуэли из-за понравившейся ему женщины и потом лежал в больнице с огнестрельной раной. Человек, увлеченный своим делом, он принес с собой эту увлеченность и в коллектив ДК, работал с любителями так, будто готовил их к профессиональной актерской деятельности, хотел даже создать в будущем еще одну московскую труппу. Вахтанговцы преподавали в нашем коллективе технику речи, движение, фехтование. На занятиях по мастерству актера бывали Щукин, Горюнов, Понсова. А декорации какие были, а костюмы!

Как ни удивительно, но именно к той поре относится мое (и других студийцев) радиовыступление – в спектакле «Профессор Полежаев», который транслировали по радио.

Играл я в том коллективе Гортензио в «Укрощении строптивой», Пятеркина в «Вассе Железновой», другие роли… Если быть откровенным, то поначалу я пошел туда не из особенной тяги к искусству, а из эгоистических соображений: те, кто участвовал в клубной самодеятельности, могли бесплатно ходить в ДК на фильмы и концерты. Но позже совершенно пленился человеческим обаянием и талантом Василия Васильевича, любое его указание старался выполнить, что называется, стремглав. Делал черную работу, строил и таскал декорации, получая от этого огромную радость. Ходил и в другие кружки ДК – хоровой, изостудию, играл в оркестре на домре. Мне открывался совершенно неведомый

мир, о котором раньше и не подозревал. Это было как дверь в какую-то иную, неведомую, чудесную жизнь, куда мне вдруг разрешили заглянуть.

Отношение мамы к моим увлечениям было уже совершенно иным, чем раньше. Она была довольна тем, что я почти расстался с улицей, где со мной часто случались огорчавшие ее приключения, а то и драки…

Василий Васильевич говорил нам о Пушкине, Шекспире, Достоевском, а я слушал и чувствовал, что лицо мое заливает краска: ведь я этих книг не читал. И когда Куза, случалось, говорил: «А помните, в „Медном всаднике“…» – я опускал голову и изображал глубокомыслие. А сам думал: только бы не спросил именно меня, только бы другие не догадались, как мало я знаю…

И я потянулся к книгам. Поначалу – из нежелания быть белой вороной, из боязни быть разоблаченным в своей серости. Но очень скоро стал читать уже не из страха. Просто не мог оторваться. Куза иногда говорил:

– Растет будущий студент-вахтанговец.

Всерьез этих его слов я не принимал, объяснял их добрым отношением Василия Васильевича ко мне.

Много лет спустя понял, как важны были для меня его одобрение и поддержка. Когда близкие верят в тебя, вслед за ними ты сам становишься способен сделать многое. Куза был бескорыстно добрым человеком. Он искренне любил нас, водил на репетиции и спектакли в театр Вахтангова, по-

том подолгу разговаривал с нами о том, что мы видели.

Сам Анатолий Дмитриевич тоже обладал этим качеством своего первого наставника. «Однажды, – вспоминает Н. Ю. Каратаева, – он сказал мне: „Я хочу как Качалов. Был с ним такой случай. Подходит к двум актерам, говорит одному из них: „Вы вчера прекрасно играли в спектакле“. Потом, чтобы не обидеть другого: „И вы – тоже!“ А тот, другой, отвечает: „Василий Иванович, я в этом спектакле не занят!“ – „Да? Но вот если бы были заняты, тоже сыграли бы превосходно!““»

Видел, как репетировал Кутузова Б. В. Щукин. Смерть помешала Борису Васильевичу сыграть в этом спектакле. Роль Кутузова играл прекрасный актер Державин, отец актера нашего театра Михаила Державина.

Когда видел Рубена Николаевича Симонова в роли Дон-Кихота и Горюнова в роли Санчо Пансы, немел от восторга. А тот же Симонов в спектакле «Много шума из ничего»! А Щукин в спектаклях «Человек с ружьем» и «Егор Булычев»! Забыть такое просто невозможно.

Десятый класс я заканчивал в вечерней школе, потому что поступил работать на 2-й подшипниковый завод, в ремонтную мастерскую. Надо было помогать семье. Мой мастер, Василий Иванович Захаров, запомнился мне тихим и застенчивым человеком. Помните фильм «Наш дом»? Так вот, Ва-

силий Иванович в какой-то степени – прообраз моего героя Ивана Ивановича Иванова. По крайней мере, работая над этой ролью, я старался подробнее вспомнить его манеру общения с людьми, характер, голос, походку… Учил он меня старательно, не торопясь, не раздражался, если я что-то не понимал. Он все умел в своем деле и все знал в нем до последней детали, но оставался неправдоподобно скромным. Настоящий мастер, с огромной внутренней культурой. На завод всегда приходил чисто выбритым, элегантно одетым, аккуратнейшим образом вешал костюм в личный шкаф. Не курил у рабочего места, хоть это и не запрещалось. Я не зря вспоминаю его в ряду моих учителей.

А потом началась война…

После ранения и госпиталя, где лечился месяцев пять, я вернулся в Москву: был признан инвалидом.

Отца в Москве не было, он работал где-то на Урале. Там же работала и сестра.

Мама знала о моем приезде, но в тот день у нее была смена на заводе. Дома увидел на столе картошку, хлеб, в кульке лежали конфеты «подушечки». Я не стал садиться за стол, лишь умылся и ждал маму.

Потом мы сидели с мамой за столом, она все плакала, глядя на меня. Я закурил, и мама очень огорчилась.

– Ты куришь?

– Я и до войны курил.

– Молчал бы хоть…

Я пошел на завод. У станков стояли женщины и ребята-подростки. Мне в работе на заводе отказали из-за состояния здоровья. Сейчас я всматриваюсь в себя – в потертой гимнастерке, с сержантскими погонами, отправленный на инвалидную работу по охране наркомата целлюлозно-бумажной промышленности (камень лежал на сердце от сознания своей неполноценности), – и удивляюсь, что мне хотелось жить и казалось, что жизнь – совсем неплохая штука, и многое еще впереди.

Однажды я зашел в заводской клуб, в котором раньше занимался в самодеятельности. Предложил создать концертную бригаду, чтобы выступать перед рабочими. Хорошо помню, как тепло, с какой благодарностью принимали на заводах наш маленький коллектив, состоящий из нескольких старушек, девушки и меня. А вскоре мы стали выступать и перед бойцами на фронте.

Тогда же я решил поступать в институт театрального искусства.

Я пришел в ГИТИС, хромая, опираясь на палку…

В 1942 году я пришел в ГИТИС, к тогдашнему руководителю института М. М. Тарханову, знаменитому мхатовцу, народному артисту СССР. Пришел хромая, опираясь на палку…

Я читал «Сына артиллериста» К. Симонова. Помню, что читал очень плохо и во всем винил свою проклятую палку, которую вертел в руках.

Михаил Михайлович взглянул на нее и спросил только:

– А сможешь?

– Так точно, смогу! – ответил я по-военному.

– Ладно, – сказал Тарханов, – приходи через четыре дня.

Пришел. На доске объявлений висел отпечатанный на машинке список принятых в институт еще в августе. И в этом списке карандашом была дописана моя фамилия. Меня взяли сразу на второй курс. Это объяснялось очень просто: там не хватало мужчин.

В институте я попал в атмосферу такого доброжелательства, какое пожелал бы увидеть и испытать на себе всем студентам актерских факультетов. Наши учителя были строги, очень строги и требовательны. Но это были строгость и требовательность отцов и матерей, заинтересованных в том,

чтобы их дети стали настоящими людьми и настоящими профессионалами. С той самой поры я выверяю силы и возможности с вершин мастерства моих учителей по театральному институту – Тарханова, Леонидова, Телешовой, Сахновского, Дикого, Горчакова, Завадского. Мы жили тогда спектаклями МХАТа, Малого и Вахтанговского театров, моими кумирами были Хмелев, Дикий, Книппер-Чехова (кстати, диплом мне подписывала именно она). ГИТИС для нас был самым настоящим домом, в котором мы и учились, и питались, и, случалось, ночевали. Прикорнешь где-нибудь, смотришь – уже утро, и пора идти на первую лекцию. Смеялись, шутили, репетировали какие-то капустники, писали пьесы, делали самостоятельные отрывки. Бывали, конечно, и курьезы. Например, однажды осенью мы поехали в колхоз – нас попросили играть там отрывки. Мы долго и тщательно готовились. Приехали. Висят афиши – все в порядке. А председатель колхоза, женщина, очевидно, не разобравшись сразу, кто мы и что, отправила нас работать в поле. Несколько дней мы убирали картошку, да так ударно, что потом, при подведении итогов, оказалось, что мы перевыполнили план. Стали спрашивать, как наши фамилии и кто бригадир. Выяснилось, что мы артисты. Председатель колхоза перед нами долго извинялась. Стали писать нам благодарность. А бригадиром у нас был Юра Фрид, наш сокурсник. И его вдруг в этой благодарности громко назвали руководителем института и народным артистом Советского Союза. Так он у нас там и

проходил. Был, например, такой случай. Подогнали два грузовика, сделали таким образом площадку, а одного из шоферов не предупредили. И вот я сижу на одном грузовике, а моя партнерша на другом. Идет сцена. А тот шофер, которого не предупредили, пришел после обеда, взял машину и уехал. Представляете, ситуация – я сижу, а партнершу увозят. Но зрителям это даже понравилось…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.